

В 1894 году, когда Страхова, одновременно с его ровесником Львом Толстым, избирали в почетные члены популярного в то время Московского психологического общества, ему дана была такая характеристика:

«Человек разносторонне и широко образованный, мыслитель тонкий и глубокий, замечательный психолог и эстетик, Н. Н. Страхов представляет и как личность выдающиеся черты — стойкостью своих убеждений, тем, что он никогда не боялся идти против господствующих в науке и литературе течений, восставать против увлечений минуты и выступать на защиту тех крупных философских и литературных явлений, которые в данную минуту подвергались гонению и осмеянию» *.

Московским психологическим обществом руководил тогда Н. Грот, во многом единомышленник Страхова, тоже идеалист, последователь Шопенгауэра, метафизику его пытавшийся использовать для обновления старой, реакционной, христиански-славянофильской «этики отречения». То, что Страхов шел «против господствующих течений» (разумеется, против материализма и позитивизма), боролся с демократическим крылом в литературе второй половины прошлого века, с Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, Некрасовым и Салтыковым, — ставилось ему при избрании, очевидно, в особенную заслугу. В его характеристике дальше так и сказано: «Как политический мыслитель Н. Н. Страхов всегда писал в духе и в защиту славянофильства».

Страхов действительно был человек разносторонне и широко образованный: философ, историк, литературовед, физиолог и психолог. Он был естественник по образованию; окончил физико-математический факультет и представил магистерскую диссертацию по зоологии («О костях запястья млекопитающих», 1857). Его философские труды: «О методе естествен-

* Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 2 (32). С. 299—300.

ных наук и их значении в общем образовании» (1865), «Мир как целое» (1872), «Философские очерки» (1895), многочисленные статьи по психологии, в частности книга «Об основных понятиях психологии и физиологии» (1886), три книги по философии культуры («Борьба с Западом в нашей литературе», 1882—1887, первоначально в «Заре» 1870 г.), в которых для того времени (семидесятые годы) дается оригинальная по тону, нарочито «спокойная» оценка философским и историческим воззрениям таких, с точки зрения «правых», одиозных мыслителей, как Герцен, Ренан, Тэн. Во всех этих работах видна обширная эрудиция автора.

Эрудитом является Страхов и в своих литературных статьях, отличающихся прозрачностью языка и ясностью изложения. Тон осторожного исследователя, наукообразной убедительности стремился он соблюдать в своих оценках и приговорах. И это давалось ему тем легче, что навыки, им приобретенные в занятиях естественными науками, вполне соответствовали его крайне уравновешенному характеру, вследствие которого он никогда не играл роли застрельщика.

«Один из трезвых между угорелыми» — так, говорил Страхов, можно будет написать на его могиле. «Угорелыми» были для него не одни «нигилисты», последователи идей «Современника» и «Отечественных записок».

Он мог бы так называть и «защитников православия», грубо выступавших против Толстого. «Они стоят за веру,— иронизировал он,— а потому разрешают себе всякое извращение и неуважение чужих мнений, они стоят за нравственность, а потому считают долгом быть резкими и грубыми»*.

Подобие «либерализма» в вопросах морали, позиция как бы несколько со стороны, позволявшая ему в какой-то мере свободно относиться к «своим» же, подвергать их, хотя бы изредка, критике и осуждению, и в особенности широта кругозора, охватывавшего самые разнообразные стороны человеческого творчества,— вот что давало Страхову право на *расположение* таких людей, как Толстой и Достоевский.

* Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 2(32). С. 304.

Говорим о *расположении*, но не о настоящей духовной и душевной близости. Были отношения весьма приятельские. Страхову они порою казались даже «нежными». Страхов принимал активное участие в журналах Достоевского «Время» и «Эпоха», часто встречался с ним на редакционных собраниях, бывал у Достоевского и дома. Хлопотал об устройстве его денежных дел, когда тот находился за границей.

А в области идей был у них, безусловно, ряд точек соприкосновения: в вопросах прежде всего философских, одно время — и общественно-политических и литературных. Казалось совершенно законным стремление Страхова использовать для подтверждения своих взглядов силу и авторитет Достоевского. На самом же деле, за исключением разве периода «Бесов», они, в сущности, часто расходились по самым жгучим, волнующим вопросам эпохи: о движении среди молодежи, о круге Чернышевского и Добролюбова, о понимании задач литературы и критики. Страхов пытается всеми доступными ему мерами ослабить впечатление от целого ряда фактов, которые сам же сообщает в своих воспоминаниях, если эти факты не умещаются в его схему; он говорит о них тогда лишь туманными намеками и в таком контексте, что почти исчезает их подлинный смысл. Так скажет он мельком о тех поправках, которые вносил Достоевский в его статьи, резко меняя их тон и характер, в частности — в его статью о «Свистке» Добролюбова*.

С оттенком явной иронии, в которой звучит и насмешка, рассказывается Страховым о «студентской истории», о сочувствии арестованным со стороны передовой части петербургского общества, в том числе и редакции журнала Достоевского «Время»**.

В 1865 году, упоминает вскользь Страхов, происходит у него размолвка с Достоевским, и до самой свадьбы Достоевского (в 1867 году) они не встреча-

* Стр а х о в Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. СПб., 1883. С. 235.

** Там же. С. 231—234.

ются. В чем была размолвка, из-за чего разошлись — Страхов умалчивает, надо думать — из-за вопросов характера не бытового. Об отношениях с Достоевским в письмах к Толстому имеются такие строки: «Достоевским я очень недоволен: он стареет видимо с каждым днем» *. «Я <...> не люблю самого себя так, как Достоевский...» ** «Я Тургенева и Достоевского — простите меня — не считаю людьми; но Вы — человек» ***, — добавляется дальше в адрес Толстого, что звучит несколько льстиво. Достоевский в письмах к Анне Григорьевне несколько раз упоминает об отрицательном отношении к нему Страхова; в последний раз поводом к этому был роман «Подросток» ****.

Само помещение романа в журнале Некрасова и Салтыкова-Щедрина, очевидно, было крайне враждебно принято не только Страховым, но и Майковым. «Не нравятся они мне оба, а пуще не нравится мне и сам Страхов; оба они со складкой» *****,— писал Достоевский Анне Григорьевне 11 февраля 1875 года. После «Подростка» в письмах Достоевского Страхов не упоминается ни разу. Очевидно, они не встречаются в последние пять лет жизни Достоевского (исключая, конечно, случайные и официальные встречи).

Разбираясь, уже после смерти Достоевского, в своих отношениях с ним, Страхов писал, подводя, по своему обыкновению, частный случай под некое обобщение: «Близость между людьми вообще зависит от их натуры и при самых благоприятных условиях не переходит известной меры. Каждый из нас как будто проводит вокруг себя черту, за которую никого не допускает, или лучше — не *может* никого допустить. Так и наше сближение встречало себе препятствие в наших душевных свойствах» *****.

Сразу же после смерти Достоевского Страхов,

* Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым // Толстовский музей. Т. 2. СПб., 1914. С. 27 (Письмо от 15 марта 1873 г.).

** Там же. С. 185 (Письмо от 14 сентября 1878 г.).

*** Там же. С. 214 (Письмо от 11 марта 1879 г.).

**** См.: Достоевский Ф. М. Письма. Т. 3. М.; Л., 1934. С. 148 (Письмо от 6 февраля 1875 г.).

***** Там же. С. 154.

***** Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 224.

взволнованный и огорченный, писал Толстому о чувстве «ужасной пустоты», но и здесь он не мог не прибавить: «мы не ладили все последнее время» *. Особенно показательно его откровенное признание об отношении к Достоевскому, свидетельствующее не только об их чуждости друг другу, но и о резко отрицательном отношении, почти ненависти к Достоевскому. И это не в минуту гнева или обиды, а результат всей жизни; точно исповедаться хочет он перед Толстым, «носителем правды», о том, что лгал о Достоевском не только в своих воспоминаниях, где была цель создать ему апофеоз, а, в сущности, всю жизнь: рисовал образ его идеальным, с точки зрения своих же нравственных понятий и убеждений, и сам же сознается, что лгал намеренно, что *все выдуманно*. Посылая Льву Толстому биографию Достоевского, которую только что закончил, он пишет ему свою «покаянную»: «Все время писания я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением <...> Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен <...> Лица, наиболее на него похожие, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах» <...> Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливым, героем и нежно любил одного себя <...> я бы мог записать и рассказать и эту сторону в Достоевском, много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее, но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем» **.

В конце своих «Воспоминаний» А. Г. Достоевская должным образом оценивает Страхова как человека, приводит достаточно фактов, изобличающих его во лжи по отношению к нравственному облику Достоевского ***.

Возникает поэтому для установления истины крайняя необходимость подойти к фактам, которые

* Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 266 (Письмо от 3 февраля 1881 г.).

** Там же. С. 307—309 (Письмо от 28 ноября 1883 г.).

*** Достоевская А. Г. Воспоминания. М.; Л., 1925. С. 285—292.

Страхов сообщает как можно осторожнее. Не поддаваться прежде всего *соблазну заостренной логики* Страхова, резко разграничить факты с точки зрения достоверности, когда они касаются социально-политических убеждений Достоевского. И дело даже не столько в самих фактах, сколько в своеобразном их освещении с определенной целью. Это нужно особенно иметь в виду, когда речь идет о первых главах воспоминаний Страхова — об истории журналов Достоевского первой половины шестидесятых годов. Тем более что здесь Страхов — почти единственный из сверстников Достоевского, который отлично знает и помнит обо всем, что творилось в общественной жизни той эпохи, и о своеобразном ее отражении в журнальной деятельности писателя. Знает как ближайший сотрудник, принимавший деятельнейшее участие в борьбе литературных течений того времени. Было бы его свидетельство весьма ценным, если бы он не задавался целью представить Достоевского во всем своим единомышленником — славянофилом, верноподданным, борцом против нигилизма, материализма и т. д.

Иным должно быть отношение к тому, что пишет Страхов о материальном положении Достоевского в тот или другой период, о двух его поездках за границу (в 1862 и 1863 гг.), об обращении к издателям с предложением своих романов и повестей, только что задуманных, и т. д., и т. п. Касаясь жизни Достоевского преимущественно лично-бытового характера, Страхов становится более точным, соответственно, возрастает и значение его сообщений.

Но, повторяем, не в этом, в сущности, основной интерес материалов, освещающих творчество Достоевского, которые мы находим у Страхова. Ценность их выявляется особенно с того момента, когда перед нами Страхов не столько мемуарист, сколько мыслитель-философ, решающий задачи глубоко принципиальные, в размерах очень широких, в пределах которых творчество отдельного человека, как бы он ни был велик, кажется частностью.

Страхов с Достоевским познакомился в начале 1860 года, вскоре по возвращении Достоевского из Сибири. Они оба бывали у довольно популярного в то время писателя и педагога, «преподававшего литературу по Белинскому», — А. П. Милюкова, с которым братья Достоевские состояли в дружеских отноше-

ях еще с сороковых годов как с петрашевцем, членом кружка Дурова. У Милюкова, фактического редактора только что основанного (в январе 1860 г.) журнала «Светоч», собирались по вторникам разные литераторы: поэт Аполлон Майков, Достоевские, фельетонист и поэт Д. Минаев, молодой Вс. Крестовский; приглашен был и Страхов, напечатавший в первой книжке «Светоча» свою первую большую статью, с которой он выступил в петербургской большой прессе, — «Значение Гегелевой философии в настоящее время» *.

3

Они встретились вначале как люди резко противоположных интересов и направлений, как представители двух разных эпох и культур. Страхов, по его собственным словам, занимаясь философией и зоологией, «прилежно сидел за немцами и в них видел вождей просвещения» **. Понимать Гете было для него верх образования; он поклонялся «науке, поэзии, музыке, Пушкину, Глинке» — словом, совсем идеалист тридцатых годов, подобно Аполлону Григорьеву, который тоже вскоре появится и в окружении Достоевского.

В то же время литераторы из кружка Милюкова, и прежде всего сам Достоевский, среди них «первенствовавший не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которой их высказывал», — наоборот, немцев совсем не уважали; они «очень усердно читали французов, политические и социальные вопросы были у них на первом плане и поглощали чисто художественные интересы». Достоевский, по утверждению Страхова, был тогда «вполне проникнут этим публицистическим направлением». Он придерживался «теории среды», ставил своей задачей «наблюдать и рисовать различные типы людей, преимущественно низкие и жалкие, и показывать, как они сложились под влиянием окружающих обстоятельств»; суждения свои о человеческих свойствах и действиях высказывал «не с высоты

* Светоч. 1860. Кн. 1. Отд. II. С. 3—51.

** Стр а х о в Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 172.

нравственных требований, не по мерилу разумности, благородства, красоты, а с точки зрения неизбежной власти различных влияний и неизбежной податливости человеческой природы».

Немецкая субъективно-идеалистическая эстетика с ее теорией «свободного искусства», ставившей художника над жизнью, вне «идеалов и забот сегодняшнего дня», столкнулась, в лице Страхова, с «теорией французской», материалистической и просветительской,— с теорией, требовавшей, как ее определяет Страхов, «служения современной минуте», уловления и отражения в образах «последней и новейшей черты в общественной жизни» *. Так утверждается категорически столь авторитетным свидетелем Страховым, что не в Сибири, не под влиянием пережитого на каторге началось «перерождение убеждений» Достоевского. Продолжается, по-видимому, все та же линия, которая привела его к петрашевцам, к самому левому крылу их, к тем, которые группировались возле Спешнева **.

И все же были, очевидно, в воззрениях Достоевского уже в то время какие-то стороны, которые не укладывались в господствующую «теорию среды»; начались какие-то колебания. Страхов говорит об этом неясно, словами отвлеченными: «Был он мне слишком непонятен»; «поражал неистощимой подвижностью своего ума»; порою казалось, что «в нем как будто *не было ничего сложившегося*, так обильно нарастали мысли и чувства, столько тайлось неизвестного и непроявившегося под тем, что успело сказаться». И в другом месте — о раздвоении Достоевского, о том, что сам Достоевский называл «рефлексией», — о способности его очень живо предаваться известным мыслям и чувствам и в то же время смотреть на них со стороны, с некоей непоколебимой точки душевного центра. Она сказывалась, эта рефлексия, в необычайной широкости его *сочувствий*, в умении «понимать различные и *противоположные взгляды*» ***.

* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 174.

** См.: Д о л и н и н А. С. Достоевский среди петрашевцев // Звенья. Т. VI. М.; Л., 1936. С. 512—545.

*** Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 175—176.

Было не только понимание, но уже и некое сочувствие противоположным взглядам, стал обнаруживаться начавшийся процесс «перерождения убеждений». И пример конкретный — отношение Достоевского к статьям Страхова натурфилософического содержания, на которые он уже тогда обратил особое внимание.

Как ни осторожен был Страхов в первых своих выступлениях, его приверженность к немецкой идеалистической философии и в связи с этим, в области вопросов нравственности, его отрицание *теории среды* были высказаны в этих статьях с достаточной ясностью.

В 1860 году печатается целый ряд статей Страхова под заглавием «Письма о жизни» *; в них речь об основных свойствах органического мира. И вот утверждает им, что в организме происходят два противоположных ряда явлений или процессов: одни, «явления круговорота», «служат только для возобновления организмов в прежнем виде» — это ряд *механический*; другие же связаны с *развитием* организма как с *основным* его признаком, с его «*постепенным совершенствованием*». *Развитие*, таким образом, есть процесс, как бы из самого себя проистекающий, из некоей таинственной сущности, в организме заключенной, то есть из начала *духовного*, из идеи. Страхов так и говорит: «переход в высшие формы зависит не столько от внешних условий, сколько от *самого* организма».

Дальше будет указано, какое влияние окажет на строящееся мировоззрение Достоевского эта страховская натурфилософическая концепция. Применительно к вопросам нравственности, в смысле влияния окружающей действительности на поведение человека в обществе, она не так уже явно оборачивается против «теории среды», чего добивается Страхов уже в одной из первых своих статей **, в разборе книги П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии».

Страхов, полемизируя с Лавровым, утверждает, что «истинным двигателем истинно человеческой дея-

* Светоч. 1860. Кн. 3. С. 1—40; Кн. 5. С. 1—23; Кн. 8. С. 1—23.

** Светоч. 1860. Кн. 7. С. 1—13.

тельности всегда были и будут *идеи*», что на поведение человека среда не должна оказывать и не оказывает никакого влияния. «Существенным, необходимым образом воля подчинена только одному — именно *идеи своей свободы, идеи неподчинения, самобытного и сознательного самоопределения*». На этой идее будут вскоре построены «Записки из подполья» *, где герой сплошь и рядом подпадает под влияние среды, как бы он ни сопротивлялся ей.

Страхов рассказывает, что эти-то статьи его в «Свечке» за 1860 год, направленные против «реализма» Чернышевского и Лаврова, и «обратили на себя внимание Достоевского». Решившись начать с будущего года издание толстого ежемесячного журнала «Время» и подбирая для него сотрудников, Достоевские «заранее *усердно* приглашали его», Страхова, гегельянца, идеалиста, работать в журнале **.

4

Лицо журнала Достоевского «Время» определялось в значительной мере Страховым. Родоначальником идеологии «почвенничества», которую журнал разрабатывал, был Аполлон Григорьев; страстно проповедовал ее Достоевский. Но Григорьев крайне сложен; свою мысль он никогда не мог довести до ясности. Те взгляды, которые он пытался высказывать на каком-то особом, своем языке, представляли собою для читателя не столько систему, сколько сплав, состоявший из самых разнородных и противоречивых элементов. Достоевский, «необыкновенно живо *чувствовавший мысль*», обладавший исключительной способностью вдруг зажигаться какой-нибудь идеей, самой простой, иногда давно известной, и давать ей резкое, образное выражение, — тоже логически никогда ее не разъяснял, как он сам часто жаловался на этот недостаток, «не умел разворачивать *содержания* своих мыслей». Один только Страхов умел быть понятным и в меру убедительным для тех, кто искал в журнале ответа на вопрос: в чем же заключается сущность этого направления — «почвенничества»?

* Впервые напечатаны в 1864 г. в «Эпохе».

** Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 177.

Как «почвенники», Аполлон Григорьев и Достоевский все время твердили, что они *не западники и не славянофилы*. Хотя они тоже, как славянофилы, выдвигают главной своей мыслью, что интеллигенция «оторвалась от своей почвы» и что «следует искать *своей* почвы» в народных началах, но их «почва» совсем другая, не славянофильская, и другое они понимают под «народными началами». Были здесь возможны два пути: путь к Герцену, противопоставление России Европе в свете *истории и вопросов современности*, — подобно Герцену тоже стать на ту точку зрения, что только русский народ способен осуществить идею, которой «беременна Европа», идею социализма, русский народ к этому подготовило своеобразие его исторических судеб, сохранившийся до сих пор его общинный строй, — или уж прямо скатиться к славянофильству, признать, что русский народ — «народ-богоносец», истинное христианство, православие определяет его душевный строй.

Достоевский решил идти по первому пути *. Страхов объясняет это тем, что со славянофилами «он был тогда почти незнаком». А то малое, что знал о них, — надо думать, не из первоисточников — вряд ли разделял. Это, конечно, неверно; как будет дальше показано, статья Достоевского против славянофильского журнала «День» — одна из первых во «Времени».

Про этот начальный период сближения с идеями Герцена Страхов и говорит: «Некоторое время я расходился с направлением «Времени», причем не могу сказать, чтобы я горячо проповедовал или отстаивал свое расхождение»; очевидно, Страхову уже тогда хотелось верить, что по первому пути Достоевский далеко не пойдет. Слова Страхова о себе здесь очень показательны: «Мысль о новом направлении, однако же, сперва занимала меня (...) но очень скоро, по своему *нерасположению к неопределенности*, я порешил, что нужно прямо признать себя славянофилом» **.

И дальше Страхов ведет свой рассказ так, что дело, которое хоть «и без того шло своим естественным

* См. об этом подробно в работе «Последняя вершина» (Д о л и н и н А. С. Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963. С. 289—293).

** Стр а х о в Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 205.

путем к необходимому выводу», к славянофильству, пришло к нему сравнительно скоро,— роль его была очень большая. Она сказалась прежде всего в той борьбе, которую он повел во «Времени» против нигилистов и «теоретиков» — против Чернышевского, Добролюбова и Писарева. И здесь он говорит полную правду, но вряд ли выгодную для себя: именно он, Страхов, а вовсе не Достоевский, положил начало борьбе с нигилистическим направлением*.

«Но мне,— говорит Страхов,— не терпелось и хотелось скорее стать в прямое и решительное отношение к нигилистическим учениям». В статье «Еще о петербургской литературе» в июньской книжке «Времени» за 1861 год он и стал впервые в это прямое, решительное и враждебное отношение и дальше продолжал в этом роде чуть не в каждой книжке журнала. «Рассказываю обо всем этом потому,— читаем мы тут же у Страхова,— что дело это имело *чрезвычайно важные* последствия: оно повело к *совершенному* разрыву «Времени» с «Современником», а затем к общей вражде против «Времени» всей петербургской журналистики».

Нарочитая скромность была свойственна Страхову. Свою роль он никогда явно не преувеличивал. На этот раз «скромность» изменила ему: разрывом своим с «Современником» «Время» в большей мере действительно ему обязано, но вовсе не потому, что он открыл эту полемику и повел ее в слишком резком тоне,— статьи его справедливо воспринимались как более ясное выражение некоей идеологии, которая *стремится* стать определяющей по отношению к журналу в целом, идеологии еще не оформившейся, еще в тенденции. В свете статей Страхова воспринимался смысл статей и других авторов, которые почему-либо не хотели или не могли быть столь же понятными.

5

Процесс «перерождения убеждений» у Достоевского, если говорить о явных его признаках, длился очень долго. В «Зимних заметках о летних впечатлениях», напечатанных в первой книжке «Времени» за

* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 235.

1863 год, колебания его между путем Герцена и путем славянофилов отнюдь не склоняются в сторону славянофилов. Стал он ясным, этот процесс, в 1864 году в «Эпохе». Это были годы наибольшей близости со Страховым. Позднее, в 1873 году, во времена редактирования «Гражданина», Достоевский так прямо и сказал Страхову: «половина моих взглядов — ваши взгляды» *. Страхов объясняет эту «большую похвалу» тем, что «люди с художественным складом ума часто видят большое достоинство в логическом развитии мыслей, к которому сами они мало расположены, и когда в основах есть совпадение... то художникам бывает очень приятна отвлеченная формулировка их идей и чувств» **.

Психологически это, может быть, в известной степени и верно. И то вряд ли. Мы знаем, как Толстого раздражал перевод на язык логический художественных его идей ***. Но дело здесь не в психологии, а в самом факте признания Достоевским, как многим он обязан Страхову в своих взглядах; сказано это в период *именно* «Гражданина», действительно наиболее реакционный в деятельности Достоевского.

Страхов пытается объяснить причины и обстоятельства установившегося единомыслия: «Когда обмен мыслями происходит в виде личных бесед, это особенно действенно». Страхов так вспоминает об этом периоде, об этих первых шестидесяти годах, когда дружба его с Достоевским, которая «имела преимущественно умственный характер, была очень тесна»: «Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры, какие мне достались на долю в жизни (...) Самое главное, что меня пленяло и даже поражало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль по одному слову и намеку. В этой легкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на

* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 238.

** Там же. С. 238—239.

*** Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. (Юбилейное изд.). М., 1953. Т. 62. С. 269.

что его просишь, и нет никаких недоумений и неясностей. Так мне представляются тогдашние бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость, и гордость» *.

В одном из писем ** Страхов говорит об этих «бесконечных» беседах с тем же чувством радости, что они были, и в то же время и грусти: были, и, увы! их давно уже нет. Та полоса в их отношениях, когда «чувство переходило уже в *нежность*», никогда больше не повторялась; с 1865 года начались скитания Достоевского, их разделило расстояние. Здесь же воспроизводится интимная атмосфера, которая так сильно содействовала взаимному проникновению мыслями; разговаривали на «всевозможные темы». Предметом разговоров были «очень часто отвлеченные вопросы»: «о сущности вещей, о пределах знания», и тут уж, конечно, тон задавал Страхов. «Достоевский, — прибавляет он, — любил эти вопросы»; выработывалась целостная идеологическая система, которая должна была стать основой творчества Достоевского, особенно второго периода. Приурочено все это Страховым к первым шестидесятым годам. Точнее — какие это годы? Процесс не конкретизируется в его деталях, — намеренно, должно быть, — несмотря на всю исключительную его важность. По Страхову, кроме петербургских «бесконечных разговоров», их сблизило еще совместное заграничное путешествие летом 1862 года, когда они в течение месяца с небольшим, были неразлучны; никого не было знакомых — ни из русских, ни из иностранцев; на осмотр исторических памятников, произведений искусства, окрестностей итальянских городов, по словам Страхова, тратили времени очень мало. Так и остались от этого путешествия особенно памятными «вечерние разговоры за стаканом красного местного вина» ***.

Здесь невольно напрашивается следующее сопоставление фактов. Страхову запомнилось своеобразие интересов Достоевского за границей: «все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал

* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 225.

** Шестидесятые годы. Л., 1940. С. 259. (Письмо середины марта 1868 г.)

*** Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 244.

только их природу и характеры» *, как они проявлялись в уличной жизни и в общественных местах. Россия и Европа; западная культура, в чем ее сущность — не в прошлом, а в настоящем, в свете русской действительности, — вот тот вопрос, с которым Достоевский приехал в Европу, чтобы решать его не отвлеченно, не по-книжному, а на основании собственных наблюдений. Отсталая Италия, где он отдыхал вместе со Страховым, — это история, прошлое Европы. Париж и Лондон — вот высочайшие вершины тогдашней буржуазной цивилизации. Достоевский был в этих столицах до Италии, и там он впервые не то что понял, а почувствовал, глубочайшим образом пережил современную проблему Европы: непримиримость классовых противоречий, когда на одном полюсе — неслыханные богатства, звериная жестокость эксплуатации, а на другом — ужасающая нищета, голодная смерть и гибель, физическая и нравственная, ни в чем не повинных детей. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» все это передано с такой болью за человека и с такой потрясающей силой, с какой до сих пор еще никто не говорил в русской литературе. В Лондоне были встречи с Герценом. И конечно, не воздействие Герцена в смысле только *литературном* имеет в виду Страхов, когда утверждает, что к Герцену Достоевский «тогда относился очень мягко, и его «Зимние заметки» отзываются несколько влиянием этого писателя» **. В личных беседах — когда «возражение делается прямо против центральной мысли, когда на вопрос сейчас получается ответ и нет никаких недоумений и неясностей» — сопоставляет Достоевский свои взгляды со взглядами Герцена по теме, одинаково их волновавшей, — о России и Европе, и вот, по-видимому, о чем были «вечерние разговоры» со Страховым в Италии, во Флоренции — все о той же теме, и как Герцен ее ставит и решает. Россия, ее история, ее роль в грядущих судьбах человечества — по Герцену или по славянофилам? Страхов, который, как он сам говорил о себе, «не любил неопределенности», давно уже твердил, что «надо прямо признать себя славянофилом». И теперь ему,

* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 243.

** Там же. С. 240.

наверное, казалось, что победа уже окончательно осталась за ним. Основная тема в «Зимних заметках» — из восьми глав ей посвящено семь — современное положение Западной Европы. В главах: пятой — «Ваал», шестой — «Опыт о буржуа», седьмой — «Продолжение предыдущего» и восьмой — «Брибри и мабишь», по гневному пафосу отрицания буржуазного строя, мы в сфере мыслей и настроений «Писем из Франции и Италии» и «С того берега» Герцена. Но этим семи главам резко противостоит по тону и настроению глава третья, названная «Совершенно излишняя» и посвященная России. Точно легкая болтовня, нарочито комическая, о разных случайных эпизодах из жизни простого народа и в контраст ей — привилегированных классов, преимущественно дворян, которые рабски копируют манеры Парижа. Это, конечно, совсем еще не славянофильство. Характерно в этом отношении заступничество (в этой же третьей главе) за Тургенева, которого «отхлестали» за то, что он «осмелился не успокоиться», «досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» *.

Страхов не мог услышать голос славянофила в той же главе в следующих жестоких словах, в которых Достоевский характеризует современного «прогрессиста»-западника: «Теперь мы с такою капральскою самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации стоим над народом, что любо-дорого посмотреть: руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом, — смотрим да только поплевываем: „Чему у тебя, сипамужик, нам учиться, когда вся национальность-то, вся народность-то в сущности одно ретроградство да раскладка податей, и ничего больше“» **.

Но так приблизительно пародировал умеренного «прогрессиста» из категории западников любой народник шестидесятых — семидесятых годов.

«Зимние заметки», где «русские начала» провозглашены уже явно как единственное средство спасения человечества от гибели, были напечатаны в январе 1863 года. Тогда же началось польское восстание,

* Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. Т. 4. С. 79.

** Там же. С. 80.

на отношении к которому ясно определились классовые позиции борющихся социальных сил в России. Славянофильский «День» Аксакова и недавно еще «англизировавшие» «Московские ведомости» Каткова сразу и резко повернули на путь свирепейшей реакции, поддерживая все решения самодержавного правительства. Петербургская демократически-левая пресса по цензурным условиям почти сплошь молчала; журнал же Достоевских «Время» решил занять особую позицию — ставить польский вопрос не в плоскости конкретных политических действий, а, как выражается Страхов, «возвести его в общую и отвлеченную формулу». Страхову и поручено было это дело; за подписью «Русский» он написал статью под заглавием «Роковой вопрос», из-за которой журнал был закрыт.

Вышло недоразумение: статья оказалась слишком спокойной в своей отвлеченности; Страхов не призывал в ней к «крови и железу», и «свирепые патриоты» из «Московских ведомостей» обвинили его в полонофильстве. Мысль статьи была та, что борьба поляков с русскими представляет собою, в основе, борьбу двух цивилизаций — европейской и русской, ложной, аристократической — и истинной, *народной*; окончательное решение польского вопроса наступит лишь тогда, когда русские одержат над поляками *духовную* победу; для этого необходимо осознать, в чем наше различие от Европы, уяснить и развить свои самобытные начала. Достоевский, говорит Страхов, был очень доволен статьей и хвалился ею *. Это те же мысли, что в «Зимних заметках», та же антитеза — Россия и Европа. Когда же в «Московских ведомостях» неким Петерсоном был напечатан на «Время» донос и пошли тревожные слухи, что журналу грозит смертельная опасность, Достоевский написал ответ, в котором подчеркнул свой сдвиг в сторону славянофильства **.

Прошел почти год, пока правительство разрешило вместо закрытого «Времени» издавать журнал «Эпоха» ***. Вот когда произошло действительное *поправле-*

* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 247.

** Там же. С. 249—254.

*** «Время» было закрыто в мае 1863 г., первая книжка «Эпохи» вышла в марте 1861 г.

ние Достоевского. В «Эпохе» Страхов продолжал свою «борьбу с нигилизмом» с еще большей решительностью. Достоевский выступил со своими «Записками из подполья» *, этим своеобразным прологом ко всей его литературной деятельности второго периода, когда борьба с революцией стала одной из главных его тем, по крайней мере до второй половины семидесятых годов. Ниже будет показано подробно, как в «Записках из подполья», написанных против романа Чернышевского «Что делать?», взгляды Достоевского — действительно наполовину взгляды, высказанные раньше Страховым.

По причинам внешним и внутриредакционным «Эпоха» просуществовала только год **; никто ее не закрывал: она уже была вполне благонамеренной; «Эпоха» сама закрылась за отсутствием достаточного количества читателей. Мы знаем, что тогда наступило между Достоевским и Страховым охлаждение, но вряд ли по причинам идеологического характера. Позднее, в период «Подростка», когда в их отношения действительно вмешается — в значительной мере — несогласие в идеологии, Достоевский скажет о Страхове суровые слова: «это скверный семинарист, и больше ничего; он <...> прибежал только после успеха „Преступления и наказания“» ***. Характеристика, безусловно, неверная, продиктованная минутным раздражением. Письма Страхова за 1867—1871 годы, в сопоставлении с письмами к нему Достоевского, ясно показывают, что идейно они были единомышленниками в охватываемый этой перепиской заграничный период Достоевского. Страхов говорит об основной идее «Идиота», воплощенной в образе князя Мышкина, как о самой дорогой ему и близкой. Страхов редактирует (в годы 1867—1870) славянофильствующую «Зарю» и совершенно искренне пишет Достоевскому, что в «Заре» он, Достоевский, будет чувствовать себя так же свободно, как и в своем собственном журнале. «Бесы» приводят Страхова в восторг. Во время редактирования Достоевским «Гражданина» Страхов опять сотрудничает с ним. Книга Данилевского, бывшего фюрериста, петрашевца,

* Напечатано в «Эпохе». Кн. 1—2 и 4.

** Закрылась на мартовской книге 1865 г.

*** Достоевский и Ф. М. Письма. Т. 3. С. 155.

ставшего потом одним из самых главных эпигонов славянофильства, реакционную сущность которого он выразил с наибольшей резкостью, его книга, написанная в 1869—1870 годы, «Россия и Европа» воспринимается обоими как «капитальное событие».

В некоем покаянном состоянии, в одном из писем к Данилевскому же, с которым он был всю жизнь особенно дружен, идейно и лично, но за что-то на него рассердился, Страхов, между прочим, так пишет о своих отношениях с Достоевским во вторую половину семидесятых годов *: «Я становлюсь все больше и больше молчаливым. С Достоевским все последние годы я был в разладе, все собирался помириться, да так и проводил его в могилу. На вас я тоже, как вы знаете, сердился. И отчего это все происходит? Мне кажется, что я прав, что другие виноваты; но, наконец, я прихожу к мысли, что есть, должно быть, во мне какой-то недостаток, вызывающий других, так сказать, соблазняющий их на несправедливости. Все это очень, очень грустно, потому что приходит старость и тоска растет с каждым годом».

6

Период существования «Времени» и «Эпохи», как указывалось выше, был периодом наибольшей близости между Достоевским и Страховым. Страховым велась главная «борьба с нигилизмом», его статьи определяли в большей мере общественно-политическое лицо этих журналов. Но воздействие шло гораздо дальше, оно проникало — в той области, в которой он действительно мог быть для Достоевского авторитетом, — в глубь философских воззрений Достоевского, освещая в его сознании самый метод его художественного творчества.

Это была философия, которую сам Страхов определял как «правоверно гегельянскую». Так писал он Н. Гроту в апреле 1893 года **, почти за три года до смерти: «Я гегельянец, и чем дольше живу, тем твер-

* Рус. вестник. 1901. № 1. С. 458 (Письмо от 12 мая 1882 г.).

** См.: Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 2. С. 308. Умер Страхов 24 января 1896 г.

же держусь диалектического метода». И о том же, о преклонении его перед совершенством гегелевской философии, читаем в первой его статье 1860 года — «О значении Гегелевой философии в настоящее время»*: «Вместе с Гегелем кончен раздор между философами; он возвел философию на степень науки, поставил ее на незыблемом основании...» И дальше: «В самой сущности Гегелева взгляда лежит примирение всех взглядов, учений, их взаимное понимание, их слияние воедино». Подтверждает Страхов свою преданность гегелевской философии и в ряде других статей и писем; во имя же Гегеля он ведет свою полемику с Антоновичем**.

Но уже современники отметили с достаточным основанием, что из «всех учений, примиренных в гегельянстве», Страхов ставит превыше всего учение Декарта. Утверждается Страховым, казалось бы совсем по Гегелю, тождество мышления и действительности, «знания и бытия», «субъекта и объекта»: «Мысль и то, что не есть мысль (то есть бытие), — совпадают, тождественны». А на деле «мир духовный, мир сознательный, непротяженный» слишком уж резко противопоставляется им миру материальному, «протяженному и несознательному». Для Страхова *бытие* всегда является чем-то косным; по отношению к «субъекту», к идее действительность пребывает в положении покорного раба. Человек, его разум — вот «центр и мера вселенной, во всем ее прошлом, настоящем и будущем» — так твердит он постоянно в своих работах.

И здесь особенно для нас важна та область, в которой Страхов чаще и яснее всего применяет свою философию. Занимаясь главным образом вопросами о взаимоотношении физиологии и психологии, он придает разуму безграничную творческую силу больше всего в деле познания *душевных* явлений — того «загадочного», «темного» в *человеке*, что особенно трудно поддается постижению. Иллюстрируется эта безграничная сила разума басней о том, как солнце пошло осматривать землю, когда ему донесли, что на земле во многих местах в некоторые часы дня и време-

* Светоч. 1860. Кн. 1. С. 3—51.

** См. его статью «Об индюшках и о Гегеле» (Время. 1861. Кн. 9. С. 69—79).

на года темно. И вот, куда оно ни являлось, все оказывалось ярко освещенным; тогда «солнце не поверило доносу, успокоилось и стало светить по-прежнему». Так и человеческий разум: стоит только указать ему на что-нибудь «темное», как «самый взгляд разума будет уже озарением этого темного» *. На «темное» в человеческой душе, до того необычное, что многим оно казалось сплошной фантастикой, и направлял Достоевский свой творческий разум. В страховском толковании отвлеченнейшего из положений о тождественности мышления и бытия — всякого мышления и *мышления образами* — было достаточно основания для укрепления веры Достоевского в свой реализм. Говорю: «укрепление»; нет надобности думать, что страховское гегельянство определило в основе творческий метод Достоевского; речь идет только об *осознании* им своего метода, о *философском подтверждении* его законности.

В этой именно плоскости особенно важным является для нас вопрос: как смотрел Страхов, идеалист, правый гегельянец, на взаимоотношение тех начал, к которым восходят у него мышление и бытие, — на взаимоотношение *духа и материи*? В эстетических воззрениях Достоевского этот вопрос занимает место центральное, сливаясь с вопросом об отношении искусства и действительности, а в строении образа, особенно центрального героя, — с вопросом об идее, которой герой проникнут, об идее как о силе, формирующей его психический склад, равно и реальную обстановку, им создаваемую. Так, например, идея «все позволено» определяет полностью Раскольников и Ивана Карамазова — их душевные переживания, их быт, их отношения к людям. То же и Ставрогин, Шатов, Кириллов, князь Мышкин, Алеша Карамазов — все они и во всем претворение определенных идей в действительности.

В «Предисловии» ко второму изданию «Об основных понятиях психологии и физиологии» Страхов останавливается на обычном, наивном представлении религии об отношении души и тела: душа «есть некоторое существо, заключенное внутри тела, как бы в оболочке... в минуту смерти она покидает тело,

* Стр а х о в Н. Философские очерки. СПб., 1895. С. 20—21.

вылетает из какого-то внутреннего места тела». Это представление, говорит Страхов, «чисто механическое», о душе мыслят как о «каком-то тонком вещественном предмете», окруженном предметом более грубым — телом. На самом же деле «различие между душой и телом <...> не во внешней отдельности, а в *существенной противоположности*», и связь между ними «гораздо глубже, чем простое соприкосновение одного вещественного предмета с другим, в котором он заключен». «Тело — не есть существо, чуждое душе, в которое она как бы насильственно вложена, а составляет некоторое *непрерывное* ее создание, или, как говорится, *воплощение*». Душа и тело, идея и природа, дух и материя — это разные выражения все того же двучлена, в котором первый член является *активным*, творчески *созидающим* по отношению ко второму. В одном из писем к Н. Гроту * Страхов выражает эту же мысль следующим сравнением: «*Материя*, по-моему, есть только поприще духовных явлений, их поле, те леса и лестницы, по которым *дух* движется. Параллельность выходит так же, как ступени лестницы параллельны шагам поднимающегося или спускающегося человека. Ступени не только не производят этого движения, но даже должны быть совершенно неподвижны». Материя и по Страхову, конечно, подвижна, как и дух, ее движущий, — каждый новый момент в становлении духа находит свое воплощение в формируемой им материи; но сравнение это отлично подчеркивает подчиненность материи духу, как и тела — человеческой душе.

Эта родственность страховского дуализма с философскими воззрениями Достоевского, которые мы улавливаем и в художественных его построениях, идет еще дальше и глубже. Мир материальный и мир духовный резко противоположны, с точки зрения Страхова. В мире материальном все «наружное, познаваемое»; к нему могут быть приложены все наши познавательные силы и способности, для которых нет никаких пределов в смысле познания законов внешней природы. В мире же духовном все внутреннее, закрытое для чужого глаза; «душа есть область *темная и таинственная*» **; если она и поддается познава-

* Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 2. С. 314.

** Стр а х о в Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб., 1894. С. 36.

нию, то приемы, во всяком случае, должны быть совершенно другие. Так как здесь, по Страхову, возможно только *внутреннее наблюдение*, «устремление взора *внутрь* себя», то, очевидно, мы должны сделать усилие, дать нашим мыслям *непривычный* ход, обратный их обыкновенному ходу, уединить себя, для целей *внутреннего* наблюдения, от мира внешнего. «Главное,— продолжает Страхов,— здесь заключается не в старании *закрыть* себя от внешнего мира, а в том особенном *повороте* мысли, который Декарт выражает словами: «Буду считать все образы вещественных предметов пустыми и ложными, буду смотреть на свои ощущения и образы только как на виды своего мышления». Очевидно, я могу и *должен* уметь это сделать и не закрывая глаз и не затыкая ушей» *. Это положительно точное описание психологического метода Достоевского, его постоянного «обратного хода» — от внешнего мира к внутреннему, и именно не затыкая ушей и не закрывая глаз, смотрят у него люди «на свои ощущения и образы как на виды своего мышления» — в основе у него ведь всегда идея.

Когда же перед Страховым стоит вопрос, в чем же сущность души, истинная ее природа, то на это он так отвечает: «Истинная ее природа обнаруживается, конечно, *при полном ее раскрытии* <...> и в те минуты *полной душевной энергии*, которые иногда испытывает человек. Рассматривая эту полную душевную жизнь, мы видим, что признание *истины, блага и свободы* <...> составляет то необходимое условие, при котором только и можем мы жить, без которого мы видим перед собою пустоту, ничтожество и бессмыслие <...> Без этих понятий, которых ниоткуда нельзя вывести <...> нельзя иметь представления о душе и ее жизни» **.

Так замыкается идеалистическая система, в центре которой человек, его душа как высшая ступень духовного. В книге своей «Мир как целое» спокойный, уравновешенный Страхов поднимается почти до поэзии, когда мыслит о месте человека в природе, устанавливает, по выражению Толстого, «иерархию су-

* Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. 39—40.

** Там же. С. 85.

ществ и явлений» *. «Наука, — говорит Страхов в своей книге «О вечных истинах», — не объемлет того, что для нас всего важнее, всего существеннее, — не объемлет *жизни*. Вне науки находится главная сторона нашего бытия, то, что составляет нашу судьбу, то, что мы называем богом, совестью, нашим счастьем и достоинством (...) Поэтому не только созерцание этих предметов в действительности, не только высокие отражения их у великих мыслителей и художников, а даже иной плохой роман, иная грубо придуманная сказка могут заключать в себе более общедоступный и сильный интерес, чем превосходнейший курс физики или химии. *Каждый из нас* — не простое колесо в огромной машине; каждый, главным образом, есть герой той комедии или трагедии, которая называется его жизнью» **.

Так проводится резкая грань между философией и искусством, с одной стороны, и естественными науками, изучающими внешний мир, природу, — с другой. Искусство не то что *истиннее* науки, у искусства задачи совершенно другие, более сложные и более высокие и, в сущности, от внешнего мира даже не зависящие, как не зависит от этого внешнего мира человек, его душа. Природа есть непрерывное создание духа, как и тело человека — создание и выражение его души. Такова основа страховского идеализма. Душа, идея — единственная активная, творящая сила в окружающей действительности. Человек ставит себе задачи и цели. И «пока есть задача, которая *не решена*, пока есть замысел, который *не исполнен*, пока есть цель, которая *не достигнута*, — до тех пор возможна деятельность». В этом смысле «жизнь не только самоудовлетворение, но и *саморазрушение, самонедовольство*» ***. Герои Достоевского выражают эту же мысль на своем языке: кто сказал, что человек непременно стремится к счастью? «Может быть, он ровно настолько же любит страдание?» «Муки души, — продолжает Страхов, — побуждают нас вперед, к неразгаданному, несовершенному. Они суть муки рождения».

* Стр а х о в Н. Мир как целое. Изд. 2-е. СПб., 1892. С. X—XI.

** Стр а х о в Н. О вечных истинах. СПб., 1887. С. 54—55.

*** Стр а х о в Н. Мир как целое. С. 186—188.

Страхов, исходя из своей идеалистической философии, так пронизирует по адресу «утилитаристов», в том числе и Чернышевского: «Но бросим и историю, и философию, и поэзию, и все искусства. Одна будет у нас цель — и притом кто не будет для нее работать! — *материальное благосостояние*. И действительно, мы, вероятно, прекрасно устроимся, как скоро бросим заниматься пустяками. У каждого будет работа; все мы будем сыты, одеты, не будем терпеть ни голода, ни нищеты, будем здоровы, а заболеем — найдем всегда докторов и лекарства. И тогда — тогда, конечно, можно будет позволить себе иногда позабавиться музыкою или поэзиею или пофилософствовать на сытый желудок» *; эти слова мы читаем у Страхова в первой статье, направленной против «Современника», в майской книжке «Времени» за 1861 год.

В статье Страхова «Пример апатии» с эпиграфом из Пушкина: «Мы сердцем хладные скопцы» — она тоже печаталась у Достоевского во «Времени» в январской книжке за 1862 год — идет разговор все о том же «материальном благосостоянии и вообще об устранении страданий, которым подвержено человечество» **. Страхов тоже считает, что это «самый живой современный вопрос». Но поднят он уже давно; о нем «говорится в Евангелии, и сказано там именно следующее: «ищите прежде царствия Божия, и вся сила приложится вам». Мне кажется, и ныне нет нужды изменять этого решения». По Страхову, это абсолютное значение души человека, высшее к нему уважение. Ибо: «Люди всегда были, есть и будут идеалистами». И дальше это положение так развивается: «Иногда говорят: хорошо человечество! Сколько времени люди живут на земле и до сих пор не умели устроить так, чтобы никто не умирал с голоду. Какой несправедливый упрек! Разве люди когда-нибудь ставили себе подобное устройство главною и единственною целью? <...> Люди всегда желали *больше*; они вечно увлекались другими целями, иными желаниями. Они постоянно хотели сделать из жизни какое-то

* Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. 1861—1865. СПб., 1890. С. 37.

** Там же. С. 122—125.

очень серьезное занятие, превратить ее в дело более важное и приятное, чем простое *отсутствии* страданий». Идеализм этот неискореним: «Отнять у человечества идеализм значит совершенно то же, что отнять у человека голову на том основании, что она у него болит». «Мир управляется идеализмом <...> власть и господство принадлежит той силе, которая всех крепче и одна непобедима — идеализму <...> Как прежде, так и ныне исцелить и спасти мир *нельзя ни хлебом*, ни порохом и ничем другим, кроме *благой вести*».

Все эти мысли, если взять их изолированно, конечно, в высшей степени неоригинальны; любой «бабушка» произносил подобные речи с церковного амвона не один раз. Но они связаны с целостной философской системой, соответствующей определенному историческому моменту в общественных отношениях. Сходные мысли можно найти у Достоевского чуть ли не во всех его произведениях второго периода — начиная с «Записок из подполья» и кончая «Карамазовыми». В «Дневнике писателя», в особенности в «Поучении старца Зосимы», он повторяет их почти дословно.

То же в статье Страхова «Тяжелое время», напечатанной в октябрьской книжке «Времени» за 1862 год, — по вопросу о нравственной ответственности человека и об общественном благополучии. Когда Страхов говорит, что «тот оскорбляет человеческую природу, кто воображает, что можно устроить благополучное человеческое общество без содействия его сознания и свободы» *, предпочитая развитие «благополучия» в обществе развитию нравственности, то и эта мысль близка Достоевскому; книга пятая — «Pro и Contra» в «Братьях Карамазовых» целиком на ней основана.

И таких примеров единомыслия между ними в области философии и этики можно привести много. Колоссально разнится, конечно, размах мысли, способ ее выражения, эмоциональная окраска. Бесконечно вялым кажется прежде всего стиль Страхова в сравнении со страстной взволнованностью речи Достоевского. Но это уже тема другая.

* Стр а х о в Н. Из истории литературного нигилизма. 1861—1865. С. 167.

Когда, на склоне своих лет, Страхов писал Н. Гроту, что у него «нет ни одной страницы антилиберальной» и деспотизму он не сочувствовал, то он, конечно, был не совсем прав. Философски спокойный, пребывавший всегда в «мире отвлеченностей», он, в меру своей уравновешенности, умел без особенных усилий соблюдать тон некоего беспристрастия. Достоевский, в воспаленном гневе, нередко позволял себе унижаться даже до грубой брани по адресу своих живых и мертвых противников: ругал Некрасова, когда был с ним в ссоре, оскорблял память Белинского, издевался в шарже над Тургеневым после его «Дыма» и в связи с ним и т. д., и т. д. Превышал нередко меру в своих нападках на идейных врагов и Аполлон Григорьев — я беру людей из наиболее близких Страхову, минуя писателей и публицистов из крайне правого лагеря, у которых ругань была их природным стилем.

Страхов поступал по-своему последовательно, когда он боролся с позитивистами и материалистами не только в сфере отвлеченной философской мысли, но и в области тех практических выводов из теоретических положений, которые они делали применительно к окружающей действительности. И именно потому, что в шестидесятых годах (как это всегда бывает, когда классовая борьба принимает острые формы) расстояние между теорией и практикой почти отсутствовало, «философия немедленно переводилась в действие», теория не только оправдывала *действие*, но сама становилась *орудием действия*, — со всякой философии жизнь тогда снимала ее пышные покровы и обнажалась до очевидности ее классовая сущность. Под знаменем идеализма выступали тогда и после разные социально-политические течения: и махровая реакция в лице Каткова с его «Московскими ведомостями», и славянофильский консерватизм, к этому времени уже значительно окостеневший, в лице Ивана Аксакова и его группы, и бледно-розовый либерализм «Вестника Европы» Стасюлевича и компании; несколько позже этим же знаменем идеализма размахивало даже наглое в своей беспринципности, торгашески пошлое «Новое время» Суворина; объединяла же их всех на протяжении полувека борьба с материализмом как с теорией революционной демократии.

Страхову, может быть, было не совсем приятно соседство некоторых; так, например, кн. Мещерского он явно презирал; не любил он и Каткова; больше всех ему был по душе Иван Аксаков. Но это ведь уже частности. Его ясный, логический ум отлично понимал, что из философии идеализма обычно вытекает отрицание революции, а на практике — борьба с нею.

Так, очень показательны в этом отношении три книги Страхова, полуфилософские и полупублицистические, — «Борьба с Западом», в частности — его понимание Герцена. Для того лагеря, к которому Страхов принадлежал или с которым соприкасался, его освещение деятельности Герцена, самый подход к нему, очень спокойный, почти сочувственный, должны были казаться чуть ли не отступничеством. В течение всех шестидесятих годов с «лондонской и женевской эмиграцией» даже не полемизировали в пределах приличия — ее просто обливали грязью. В статье «Старые люди», напечатанной в первом номере «Гражданина» за 1873 год, стилем несколько замаскированным, но в основе в высшей степени грубо, нападает на Герцена и Достоевский: сам, дескать, живет в довольствии, в роскоши и в безопасности, а людей, молодежь, подбивает на революцию, посылает на убой — таков смысл его обвинения. Страхов же подходит к Герцену совсем с другой стороны. Ему важно уяснить весь путь, проделанный Герценом.

Герцен, большой писатель и большой мыслитель, глубоко честный, беспощадно последовательный и смелый в своих исканиях и действиях, — с чего он начал и к чему пришел? Оправдана, по Страхову, вся его деятельность и революционная, поскольку она вытекала из его сложной и правдивой природы; оправданы и уход из России, и увлечение социализмом, и отрицание религии; ни одного упрека по его адресу нет у Страхова. И все же, по существу, это, может быть, самая коварная его работа, и, в частности, потому, что тон найден в ней внешне чрезвычайно убедительный для его цели.

Берется основной тезис: Герцен — пессимист. Пессимистом Герцен был и в самых первых своих произведениях — и в «По поводу одной драмы», и в «Кто виноват?», и в своих философских статьях; пессимистом он стал, после кратковременного увлечения, и по

отношению к Западу. Он был всю жизнь свою пессимистом потому, что слишком серьезны были его запросы; он проникал в глубь всякой идеи, и когда идея, по узости своей или неправильности, переставала его удовлетворять, он не упорствовал и отходил от нее. Но идеи его были западные; среди русских больших мыслителей и писателей это самый западный человек, стоявший рядом с Прудоном и Фейербахом, на самом высоком уровне европейской культуры. И в этом было его несчастье. Как истинный западник, он не постигал самобытных основ русского народа, следствием чего было «отречение от своего, русского» во имя идеалов Запада. И тогда он оставил Россию, отдал вначале свои силы самой передовой европейской стране, Франции, пытаясь участвовать в приложении на деле этих идеалов. Когда же они якобы оказались несостоятельными, то последовало «отречение и от чужого». И в душе, опустошенной этим процессом двойного отречения, но «вместе и очищенной от всех пристрастий и предрассудков», пробудилась впервые вера в Россию, послышался «живой, незаглушимый голос кровных симпатий, естественного сочувствия к духовной жизни родины». «Письма из Франции и Италии», «С того берега», «Русский народ и социализм» — таковы вехи по пути возвращения Герцена на родину, на которую он до конца все же не вернулся: «Отчаявшийся западник превратился в нигилистического славянофила, а во многих отношениях оказался истинно русским человеком» *. Русским человеком Герцен оказался, «пробежав с последовательностью и быстротой русского ума все ступени этого процесса»; он наконец почувствовал-таки веру в Россию, но стал он славянофилом *нигилистическим*, не подлинным, — не по-славянофильски воспринял он сущность народных начал.

Цель работы о Герцене ясна, Страхов сам ее точно определяет в последнем абзаце: «Вот пример и поучение для всех наших литературных партий. Наше типовое, народное, наш особый культурно-исторический тип — понемногу растет и зреет, все претворяя в свою пользу».

Так пытался Страхов использовать для своих целей революционного демократа Герцена.

* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 1. СПб., 1887. С. 160.

Сборники статей Страхова «Борьба с нигилизмом» и «Борьба с Западом» — хотя они-то в свое время больше всего и способствовали его известности — в сравнении с его научными и философскими работами занимают, конечно, гораздо более скромное место — это лишь частные выводы из общих положений его философской системы, сделанные, в большинстве своем, по случайным поводам. Такое же место занимают и критико-литературные его статьи — о Пушкине, Тургеневе, Толстом и др. Над принципиальными вопросами искусства, в частности литературы, Страхову вообще пришлось мало работать, — он взял систему взглядов у своего — ему казалось, полностью — единомышленника, как известно тоже приверженца немецкой идеалистической философии, Аполлона Григорьева, несколько ее упростил, отшлифовал и пустил в жизнь. Мы, может быть, не ошибемся, если скажем, что и Достоевский воспринял Григорьева главным образом в интерпретации Страхова: целый ряд основных положений из григорьевской «органической критики» отсутствует у них обоих.

Страхов изложил, по Григорьеву, свое понимание искусства в своих известных статьях о «Войне и мире» Толстого *. На Григорьева он прямо и ссылается: «Так верно и глубоко указаны Григорьевым существеннейшие черты движения нашей литературы», что если бы даже этого желали, «мы не могли бы быть оригинальными» **. Указывается прежде всего, для «общих начал» критики А. Григорьева, тот самый первоисточник, откуда Страхов заимствовал «общие начала» и для своей философии: «Это ее глубокие начала, которые завещаны нам немецким идеализмом, единственной философией, к которой до сих пор должны прибегать все, желающие понимать историю или искусство» ***. Следовать этой немецкой философии истории и искусства пытаются и современные

* Напечатано впервые в журнале «Заря». 1869. № 1—2. Перепечатано в книге «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885)». СПб., 1885. С. 224—392.

** Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). С. 312.

*** Там же. С. 304.

выдающиеся критики Запада: Ренан, Карлейль, Тэн, но понимает ее по-настоящему, проникнут ею до конца только А. Григорьев. Тэн, например, чрезвычайно ее упрощает, использует ее *позитивистически*; для него каждое художественное произведение есть только «сумма всех тех явлений, под которыми оно явилось: свойств племени, исторических обстоятельств и пр.». Для Григорьева же эти «свойства племени и исторических обстоятельств» сами являются производными, как и произведения искусства, ими обусловленные: «все они суть частные временные проявления одного и того же духа»; сам Страхов сказал бы: «непрерывное создание этого духа». «Общее и неизменное», «вечные требования» души человеческой, ее жизненные законы и стремления составляют сущность человечества в целом; оно же, это общее и неизменное, обособившись, воплощается в каждом отдельном народе, составляет его *сущность*, которая проявляется ярче всего в искусстве. Так мы и должны смотреть на художественные произведения какого-нибудь народа как на «многообразные попытки выразить все одно и то же — душевную сущность этого народа» *.

Они, эти произведения искусства, только *попытки* в формах *многообразных*, потому что дух, идея, душа, по гегелевской диалектике, находятся всегда в движении, в развитии. А кроме того, здесь сказывается еще это огромное, нередко подавляющее влияние чужих идеалов, «различных вполне сложившихся исторических типов» других народностей. Формы иной жизни, иных народных организмов вызывают иногда к себе такое сочувствие, что там, куда они проникают, совершенно затемняются своя народная сущность, свой народный тип. В таком именно положении и была русская литература до появления Пушкина. В этом и заключается великое значение творчества Пушкина, что он первый по-настоящему вступил в борьбу с этими чуждыми типами. То есть, с одной стороны, он находил в себе «стихии и силы для сознания соответствующих идеалов, для действительного усвоения этих типов, их *переживаний*», в особенности это относится к байроновским типам: было «стремление ото-

* Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. С. 306.

зваться на известный тип, дораста до него *своими* душевными силами и, таким образом, померяться с ним; с другой стороны — неспособность живой и *самобытной* души вполне отдаться типу, неудержимая потребность отнестись к нему *критически* и даже обнаружить и признать в себе законными сочувствия, вовсе не согласные с типом» *.

Так, «в процессе, совершавшемся в душе поэта», намечаются три момента: 1) «пламенное и широкое сочувствие всему великому, что он встретил готовым и данным» в чуждых типах, в формах и идеалах иных народных организмов; таково творчество Пушкина лицейского периода, первого петербургского периода до ссылки и периода южных поэм; 2) «невозможность вполне уйти в эти сочувствия, окаменеть в этих чуждых формах», отсюда критическое отношение к ним, начинающийся «протест против их преобладания» уже в «Цыганах», в развенчании в лице Алеко байроновского героя и 3) любовь к своему, к родному, к «своей почве». «Когда поэт, — приводится цитата из Аполлона Григорьева, — в эпоху зрелости самосознания привел для самого себя в очевидность все эти, по-видимому, совершенно противоположные явления, совершавшиеся в его собственной натуре, то, *прежде всего правдивый и искренний*, он *умалил себя*, когда-то Пленника, Гирея, Алеко, до образа Ивана Петровича Белкина».

Тип Белкина, утверждает А. Григорьев, стал почти любимым типом поэта в последний период его творчества. «В тоне и взгляде этого типа он рассказывает нам многие добродушные истории»: и «Летопись села Горюхина», и семейную хронику Гриневых, «Капитанскую дочку», — «эту родоначальницу всех теперешних семейных хроник», к которым Страхов относит и «Войну и мир» Толстого. И здесь полное единение с ним Достоевского. Достоевский неоднократно говорит, в письмах и публично, в статьях своих, что как ни велика и совершенна в наших глазах и в глазах Европы эта поэма Толстого, она все же не «новое слово». Явиться с «Повестями Белкина», с «Капитанской дочкой» — это действительно значит явиться с новым словом; «Война и мир» есть только продолжение и дальнейшее развитие этого слова.

* Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом.

И вместе со Страховым Достоевский тоже вполне согласен с основной мыслью Аполлона Григорьева, что «Белкин есть простой здравый толк и здоровое чувство, кроткое и смиренное,— вопиющее закономерно против злоупотребления нами нашей широкой способностью понимать и чувствовать»; что именно в этом типе и обнаружилась гениальная широта взгляда и вполне самобытная сила творчества Пушкина: «одной поэзии он противопоставил другую, Байрону — Белкина»; бедная, смиренная русская действительность открылась ему со всей своей поэзией, какая только в ней была; вместо «высокопарных мечтаний», вместо «увлечения мрачными и блестящими типами» европейскими появилась любовь к простому русскому типу, «способному к умеренному пониманию и чувствованию».

Но этот «простоватый лик» Белкина — окончательный ли тип русского народа, полное ли выражение его «сущности»? Славянофилы ответили бы: да! Белкин противостоит Алеко, Онегину и другим «хищным» типам, как противостоит народ западной интеллигенции, Россия допетровская — России послепетровской, и еще шире: как Восток — Западу. Григорьев, а вслед за ним Страхов и Достоевский говорят вначале: Пушкин и в эпоху умаления себя до Ивана Петровича Белкина от гордых типов не отказывается. Чисто русский страстный и сильный тип мы имеем в Пугачеве, в Дубровском, в Петре Великом (в «Медном всаднике»). Да и сам Белкин потому и не «превращается в свинство», что по сознанию своему все же несколько выше простоватых героев своих повестей. В типе Белкина «узаконивалась, и притом только на время, только отрицательно, критически, чисто типовая сторона».

Именно узаконивалась лишь одна сторона из русского типа, и то лишь на время для того, чтобы к Западу, к его «сильному типу», отнестись критически, но не отвергнуть. Вот где грань, которая отделяла их от славянофилов. Они все трое одинаково возмущены отрицательным отношением Белинского к «Повестям Белкина» и к смиренной, покорной Татьяне. Белинский не понял или не признал законности этой «чисто типовой», белкинской стороны сущности русского народа. Но в то же время прав, тысячу раз прав Белинский, когда он говорит о Пушкине как о вели-

чайшем нашем *европейце*, о том, что «Евгений Онегин» — самое задушевное произведение Пушкина, что это «энциклопедия русского общества», что Пушкин, именно как *европеец* и потому что *европеец*, сумел перевоплощать в своем творчестве гении всех народов.

«Пушкин — наше все (<...> Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности... Полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной сущности... Самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует...» — так неустанно твердил Аполлон Григорьев. «Почвенничество» — не Восток и не Запад, не западничество и не славянофильство, не противопоставление интеллигенции народу, а слияние в некоем единстве, в синтезе; вот что представляет собою творчество Пушкина по А. Григорьеву и по Достоевскому.

Образ русской народной сущности, пусть пока «только контурами набросанный», но все же «полный и цельный», — не Белкин и не Онегин, а *сам Пушкин*, пока только он *один* — «единственный полный очерк нашей народной личности». И вся русская литература от него идет и к нему стремится. Так объясняет Страхов вслед за Григорьевым весь ход дальнейшего развития всей русской литературы после Пушкина. Он тоже видит в ней, с одной стороны, «тщетные усилия насильственно создать в себе и утвердить в душе обаятельные призраки и идеалы чужой земли», с другой — «столь же тщетную борьбу с этими идеалами и столь же тщетные усилия вовсе от них оторваться и заменить их чисто отрицательными и смиренными идеалами». В Пушкине борьба эта имела свой правильный характер, так как его гений ясно и спокойно чувствовал себя равным всему великому, что было и есть на земле. У других же — у его последователей — односторонность, неполнота; лишь *некоторые* контуры пушкинские заполняются красками. Так, Григорьев говорит о Гоголе, что «Гоголь явился только меркой *наших антипатий*» по отношению к чужим типам и идеалам — «поэтом чисто отрицательным». И Страхов вполне с ним согласен. Сила Гоголя была направлена на то, чтобы развенчать эти «идеа-

лы чужой земли», эти байроновские страстные и сильные типы на русской земле; «героического нет уже в душе и жизни; что кажется героическим, то в сущности — хлестаковское или поприщинское». «Симпатий же наших кровных, племенных, жизненных он олицетворить не мог»; даже образа хотя бы с одной, но положительной, русской, «чисто *типовой* стороной», типа хотя бы Белкина, он не создал*.

И так же о Тургеневе, Толстом, Писемском, Островском. В противоположность Гоголю, они все преимущественно разрабатывают смиренный белкинский образ, одни из них слишком поэтизируют Белкина, другие же чувствуют его крайнюю ограниченность, но создать полный очерк «нашей народной личности» не могут. «Пушкинский Белкин, — приводит Страхов слова Григорьева, — это тот Белкин, который плачется в повестях Тургенева о том, что он — вечный Белкин, что он принадлежит к числу «лишних людей» или «куцых», которому в Писемском смерть хотелось бы (но совершенно тщетно) посмеяться над блестящим и страстным типом; которого хочет не в меру и насильственно поэтизировать Толстой и перед которым даже Петр Ильич драмы Островского «Не так живи, как хочется» — смиряется... по крайней мере до новой масленицы и до новой Груши»**.

Эстетические принципы А. Григорьева, его отношение к Пушкину и взгляд на общий ход русской литературы после Пушкина были приняты и Достоевским. Страхову нетрудно было подвести под них общие основы своей идеалистической философии; Достоевский, как было уже сказано, осмыслил свой творческий метод и свою художественную идеологию страховской же философией. Некоторые нюансы они все-таки оба вносят во взгляды Григорьева, отчасти, пожалуй, по его же вине. Григорьев сам, при всем своем сознании неполноты типа смиренного Белкина, значение этого типа в творчестве Пушкина и для всей последующей русской литературы слишком преувеличивает. Страхов, в особенности Достоевский идут здесь еще дальше: по мере приближения их к чистому

* Григорьев А. Сочинения. СПб., 1876. Т. I. С. 240.

** Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). С. 295, 311—312.

славянофильству значение смиренного типа в их глазах вырастает все больше и больше. Страхов делает это с оговорками, осторожно; Достоевский — со всею страстью своей натуры, без всяких оговорок. Страхов в своих восторженных статьях о «Войне и мире» хотя и пишет, что «с неотразимою силою и прелестию у него раздался голос за доброе, поднявшийся в душах наших против ложного и хищного», и в этом величайшее значение романа, но все же считает нужным добавить, что «не весь русский идеал воплотился у гр. Л. Н. Толстого», ибо «невозможно отрицать, чтобы люди решительные, смелые — не имели никакой важности в ходе дел, чтобы русский народ не порождал людей, дающих простор своим личным взглядам и силам» *. Впрочем, добавляется тут же, «вообще нельзя отрицать, что *простота, добро и правда* составляют высший идеал русского народа, которому должен подчиняться идеал сильных страстей и исключительно сильных личностей». Упрек, таким образом, относительно неполноты русского идеала почти снимается.

А Достоевский, когда говорит о Пушкине, — говорит же он о нем больше, чем кто-либо из его современников, — то почти всегда величие его гения связывает с этими «исконными чертами русского народа» — с белкинской «простотой и правдой». Так, еще до всякой «философии», в первом же произведении 1845 года — в «Бедных людях» — Пушкин воспринимается чистым сердцем Макара Деушкина как идеал, как высшее выражение любви и сострадания, чистоты и скромности, и Пушкину в контраст — Гоголь. Так строит Достоевский и свои художественные произведения шестидесятых — семидесятых годов: «люди решительные, смелые, дающие простор своим личным взглядам и силам», хотя и играют в них исключительную роль — «хищному типу» он уделяет главное внимание, — но в борьбе с ним победа, по крайней мере по авторскому замыслу, отдается «высшему идеалу русского народа» — евангельской Соне Мармеладовой, Макару Долгорукому (в «Подростке»), Алеше Карамазову и старцу Зосиме.

Исследователи говорят о влиянии на Достоевского

* Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. С. 356—358.

Владимира Соловьева, кое-кто выдвигает имя Федорова, уделялось до сих пор внимание и старшим славянофилам Хомякову и Ивану Киреевскому. Но это все крайне субъективно; не подлежит сомнению: в первую очередь должен был быть поставлен вопрос о Стракове, хотя бы уж потому, что в самом начале шестидесятых годов, когда «процесс перерождения убеждений» Достоевского только что стал намечаться, около него, как мы знаем, находился только Страхов. В небольшом кругу разрабатывавших идею «почвенничества» он, без сомнения, был личностью весьма значительной, обладая той последовательностью, которой не доставало ни Достоевскому, ни Аполлону Григорьеву. Было у Достоевского немало поводов и причин, толкавших его, как он сам выразился, на «ретроградство». Но нужно знать ближайшую идейную сферу, в которой это «отступничество» совершалось: кто именно оказывал ему поддержку, при чьей помощи он уяснял себе свой новый путь, на который он вступал, наверно, колеблясь и спотыкаясь, — нелегко же было ему расставаться со своим прошлым, где сияли такие личности, как Белинский, идеям которого, в период дружбы с ним, он клялся: «Пребуду верен», и был верен, и в годы юности не нарушил клятвы, когда стоял на эшафоте, то за пять минут до казни только ведь тем и утешался, что не изменил своим убеждениям.

ЗОЛОТОЙ ВЕК

1

Достоевским всегда руководило стремление быть до конца правдивым, как бы ни казалось это жестоким. Скажем сразу же: этого требовал от него, помимо личных качеств характера, тот высокий идеал, с которым он пришел в литературу в середине сороковых годов прошлого века, незадолго до Февральской революции, вскоре потрясшей не только Францию, но почти всю Европу. Тогда лучшие люди на Западе и у нас беззаветно верили в светлую мечту о новой эпохе в мировой истории — эпохе «всеобщего уже равенства», скажет о ней позднее Достоевский. Эта